

Содержание

Иван Толстой. РУССКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ УСТАМИ ПРОИГРАВШИХ	7
Глава 1. СКОЛЬКО ГЛАЗ НУЖНО ХУДОЖНИКУ? ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЗРЕНИЕ АННЕНКОВА	13
Рассказывает Юрий Павлович Анненков	16
Глава 2. ДЕТИ СТОЛЫПИНА	39
Рассказывает Аркадий Петрович Столыпин	42
Рассказывает Александра Петровна Кайзерлинг	54
ГЛАВА 3. КОГДА ПАПА БЫЛ МИНИСТРОМ	61
Рассказывает Олег Александрович Керенский	63
Глава 4. ГЛАЗАМИ АКМЕИСТА	75
Рассказывает Георгий Викторович Адамович	77
Глава 5. ПРАВAYA РУКА СИКОРСКОГО	105
Рассказывает Борис Васильевич Сергиевский	108
Глава 6. ЛЕТАЮЩИЙ ЮВЕЛИР	119
Рассказывает Александр Осипович Маршак	122
Глава 7. НЕСТАНДАРТНАЯ ДОЧЬ	177
Рассказывает Александра Львовна Толстая	180

Глава 8 . ВСПЫЛЬЧИВАЯ ГОРДЯЧКА	191
Рассказывает Екатерина Рощина-Инсарова	194
Глава 9. НЕПРОЗРАЧНЫЙ МИЗАНТРОП	229
Рассказывает Роман Борисович Гуль	232
Глава 11. ТЕРПЕНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	251
Рассказывает Марк Вениаминович Вишняк	254
КАНВА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ КНИГЕ	277

ПРЕДИСЛОВИЕ

РУССКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ УСТАМИ ПРОИГРАВШИХ

В своей книге «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» французский историк Марк Ферро рисует крайне поучительную картину. Она впечатляет даже тех, кто не берется прочитать его труд от корки до корки.

Французы и бельгийцы, армяне и турки, американские индейцы и европейские завоеватели, англичане и зулусы, сербы и албанцы — что общего у них в изложении прошлого? Сколько ярости и оскорбленных чувств вызывает космогония недруга!

Герои для одних оказываются предателями в глазах других, наша справедливость понимается неприятелем как вероломство — и наоборот. И все это тысячекратно усиливается, когда делить начинают не просто территорию, но родину, никогда ведь не перестающую быть *своей* для каждой из враждующих сторон.

Марк Ферро учит главному: изучая прошлое, не спешить с привычными и скоропалительными выводами (о том, кто прав, а кто виноват), смиряться перед трагедией истории, помнить, что в любом конфликте есть законная точка зрения — взгляд побежденных. Тем полезнее помнить эти уроки, когда обращаешься к самым удручающим войнам — братоубийственным, гражданским.

В середине 1960-х годов на Радио Свобода в Мюнхене родилась идея — подготовить серию больших исторических интервью мемуарного характера с участниками Первой мировой, революции и гражданской войны в России.

Вообще-то Русской Смуте, как привычно называли в эмиграции катастрофу XX века, была уже посвящена целая библиотека документов, батальных полотен, воспоминаний, кинофильмов, дневников и писем. Но поскольку трагедия перевернула всю страну и затронула буквально всех, каждому выжившему было что рассказать.

Создатели проекта «устной истории» лихолетья не ставили перед собой и своими собеседниками академических задач. Их целью была коллекция частных воспоминаний, звучащих исповедей, магнитофонных «документов личного происхождения», как это называли прежние архивисты, а последние полвека выделяют в особую группу эго-документов. В эту категорию включается все, что имеет отношение к «я», к частному свидетельству, персональному взгляду на события без претензии на объективность и обобщение.

Цель на радио была очерчена вполне ясная: личная хроника «смутных лет» от 1914 года до эмиграции рассказчика, с коротким захватом картин детства или первой русской революции (1905).

В середине 1960-х живых свидетелей гражданского катаклизма было еще очень много и принадлежали они ко всем социальным и имущественным слоям бывшей Российской империи — от царево-кокшайских путейцев и киевских ювелиров до столичных писателей, художников и прокуроров. Многие их ровесники, коллеги и даже сородичи оставались в Советском Союзе, но в отличие от эмигрантов были в публичном отношении немые: стеснены либо цензурными условиями, либо просто страхом. Само происхождение от «неправильных» родителей или занятие былой «порочной» должности слишком часто становилось при социализме приговором.

От подобного рода опасений их эмигрантские собратья были избавлены. Они жили своей частной жизнью — в маленьких изгнаннических Россиях, без российского правительства, без отечественной цензуры и родной карательной системы. Взгляды их были неподсудны, хотя, разумеется, и неприятие, и вражда, и клановость, и этнические предрассудки, и зависть — то есть все чисто человеческие пороки и заблуждения — миновать их тоже не могли.

Главное, психологически главное — у изгнанников не было страха прошлого, боязни говорения о нем. Вот эти наши соплеменники, не испорченные «квартирным вопросом», и были приглашены рассказать о своих мытарствах полувековой давности.

Задание было поручено преподавателю Колорадского университета историку Алексею Малышеву (он проделал наибольшую часть этой работы) и главному редактору тематических программ «Свободы» Владимиру Рудину. Центров русской эмиграции после войны стало гораздо меньше, чем прежде: отпали Прага, Берлин, Варшава и Белград, не говоря уже о Харбине и Шанхае. Зато к Парижу и Нью-Йорку добавились маленькие американские и европейские города и пригороды, где стареющие беженцы селились у своих детей и внуков. Интервьюерам пришлось объездить пол-Европы и пол-Америки, собирая рассказы о революции в одну звуковую коллекцию.

К 1966 году были готовы записи воспоминаний 79 человек: писателей, литературных критиков, историков, художников, адвокатов, инженеров, общественных деятелей старой России, сохранивших и в эмиграции пыл, мысль и не проходящее ощущение трагедии отечества. Круг мемуаристов не ограничивался одной лишь интеллигенцией или творческими людьми. Среди собеседников — железнодорожник, авиатор, инженер, сестра милосердия, книгоиздатель, скороспелый выпускник младших офицерских курсов.

С начала 1967 года Радио Свобода начало включать фрагменты этих интервью (продолжительностью от 9 до 13 минут — таков был разработанный для них аудиоформат) в исторические, публицистические и литературные передачи. К записям обращались не только для иллюстрации какого-либо революционного эпизода между Февралем и Октябрем, но и в тех случаях, когда в программе заходила речь о старой России. Трескучим и пафосным официозным хроникам, заполнившим в этот юбилейный год советскую печать, радио и телевидение, «Свобода» противопоставила частные исповеди.

Насколько можно судить по станционному архиву, в эфире прозвучала приблизительно половина имевшихся записей, причем каждая была представлена не более чем третью своего объема. Остальное так никуда и не пошло.

К концу 1960-х годов (после 15 лет вещания) архив радио (работавшего непрерывно с 1953 года) разросся настолько, что встал вопрос о целесообразности хранения неактуальных записей. Поскольку «Свобода» — организация американская, архивы полагалось передавать в хранилища США. Полтора десятка редакций (по числу советских республик) каждый день производили на языках народов СССР в совокупности полсотни катушек с программами. В аудиобиблиотеке они занимали несколько километров стеллажей, заставленных боксами от пола до потолка. Чтобы освободить жизненное пространство, решено было критически оценить тематическую и культурную ценность пленок и начать чем-то жертвовать. Часть лент безжалостно размагничивалась (например, многочасовые литературные чтения целых книг, записи западной эстрадной музыки, еженедельные обзоры советской и мировой прессы, спортивные репортажи), пленка пускалась на повторные записи. Через неделю-другую их могла ждать та же участь.

Для катушек с мемуарными интервью юбилейной серии была выбрана иная участь — искали подходящий архив, который согласился бы принять записи и хранить их при надлежащей температуре и влажности. Забегая вперед, скажем, что ни это технологическое условие, ни прочие требования соблюдены не были. Да и куда передали бесценные пленки? Администрация, разумеется, поначалу знала, но с тех пор одни поумирали, другие ушли на пенсию и разъехались по всему миру. Кому интересно держать в памяти пыльные подробности о русских неудачниках?

Долгие годы об этой истории никто не вспоминал. Разве что время от времени 9-13 минутные фрагменты находили себе применение в исторических программах при новых редакторах, да и только. В начале 1990-х, собирая материалы по истории холодной войны (но еще не будучи в штате радиостанции), я слышал от ветеранов «Свободы», что судьба исходных записей «не прослеживается». Мне советовали искать

в университетских библиотеках Германии, Швейцарии, Франции. Очень благожелательные архивисты в Берлине, Берне, Цюрихе, Базеле, Женеве, Париже удивленно выслушивали мой рассказ и с сожалением качали головой: «В первый раз узнаем от Вас о такой истории».

Прошло почти десять лет. Я давно уже ездил по американским архивам, не забывая регулярно интересоваться загадочными записями в Йеле, Стэнфорде, Беркли, Библиотеке Конгресса. И как-то в очередной раз изложил свою печаль сотруднику Бахметевского архива при Колумбийском университете в Нью-Йорке, размещенном на верхнем этаже Батлеровской библиотеки. Тот залез в какие-то свои руководства и уточнил: вы ищете именно аудио пленки? А там вы выясняли? — и указал пальцем вверх. Наверху, этажом выше, по моим представлениям, был разве что чердак, поскольку выше Бахметевского архива лифт не поднимался, да и кнопок дополнительных не было. А под самой крышей, оказывается, тихо располагался Oral History Project, Отдел устной истории, о котором я и не подозревал. Мой визави подбадривающе улыбнулся.

Быстрее зайца я взлетел по внутренней лестнице. Все было, как положено в подобных отделах по всему миру: большая комната, перегороденная старыми, давно немодными шкафами и картотечными стойками, деревянные столы, не менявшиеся со времен царя Гороха, затхловатый запах старой бумаги, слаще и предвкустительней которого для исследователя нет ничего на свете.

Меня слушали со всей мыслимой заинтересованностью и — одновременно — печалью. Не было у них этих пленок. Я ничего не путаю? Они в курсе всего, что связано с устной историей XX века. Посмотрите сюда, давайте проверим вместе. Меня подводили то к каталожному ящичку, то к прошнурованному гроссбуху, где уже много десятилетий подряд велся учет всему и вся.

Ничуть не бессмысленным оказался мой приход. Отыскались драгоценные машинописные распечатки этих интервью, сделанные тогда же, в 1960-е, мюнхенскими машинистками, — несколько папок с расшифровками, с сохранением «э-э-э» и «кха-кха», как полагается. И это было прекрасным доказательством исторического существования самих бесед, но я работал на радио и искал не столько тексты, сколько звуки, интонации, голосовые тембры и модуляции. Где же они, источники этих распечаток?

Нет, увы, мистер Толстой, никогда через наш отдел не проходило ничего подобного. Мы получили из Мюнхена только это. Да, в 1968 году, только это. Сколько вы еще пробудете в Нью-Йорке? Попробуйте зайти к нам через неделю, мы хотим для надежности позвонить некоторым ветеранам нашего отдела. Пожилые люди, они ведь, сами знаете, любят всякое такое помнить...

Но и через неделю, и через две поиск и звонки ни к чему не привели. Я вернулся в Европу ни с чем.

Прошел почти год, и в один распрекрасный вечер раздался телефонный звонок. Приятный мужской голос представился. Мое имя, сказал он, в данном случае ничего вам не скажет. Дело в том, что в прошлом году, когда вы были в Отделе устной истории, я слышал ваш рассказ, но вы меня при этом не видели. Мое рабочее место — за шкафом, а я не хотел вылезать и мешать. Тем более, что я ничем помочь не мог. Но меня заинтересовала сама проблема. Вы так долго ищите эти пленки и так точно знаете, что на них записано, что не может быть, чтобы они провалились сквозь землю. И я решил включиться в поиск. У меня есть кое-какая догадка. Но я русского языка не знаю, и вам предстоит отправиться на поиск самому. Вы планируете прилететь в Нью-Йорк еще раз?

Планирую ли я? Да я готов вылететь хоть завтра утром!

Через две недели я снова был на чердаке Батлеровской библиотеки.

— Вот, — сказал мне мой добрый ангел, наконец-то появившись из-за шкафа во плоти, — съездите по этому адресу и расспросите их.

— Но что там?

— Это очень маленькая манхеттенская частная студия, которую держат какие-то сербы, но они, разумеется, говорят по-английски.

Загадочная сербская студия располагалась в самом очаровательном месте Манхеттена, на Вест-сайте, в районе 70-х улиц у самого Гудзона, где высокие дома, как будто устав от своей этажности, постепенно превращают урбанистический пейзаж то ли в лондонский, то ли в амстердамский. Именно здесь любил в 50-е годы снимать свои комедии Билли Уайлдер.

— Не те ли это странные маленькие катушки, что лежат у нас со времен Ноева Ковчег? — задумчиво проговорил архивист с узнаваемым славянским выговором (вроде моего) и вынес из закромов то, чего уже, казалось, не должно было быть на свете. Чернильной ручкой (или так выглядела шариковая паста?) на диктофонных боббинках было выведено: Adamovich, Vishniak, Gul'.

— Если вам так нужно, — сказал приятнейший серб, — мы возьмем напрокат на один день старый европейский диктофон образца 60-х. Это очень причудливые боббины... Мы не знаем, сохранились ли, не размагнитились ли записи после стольких лет. Приходите через три дня.

И я пришел, и был на седьмом небе. Исторические голоса — спасены. Я летел назад через океан и думал, что равнодушие к истории так же свойственно всем народам — и русским на станции, и американцам в руководстве, — как и пиетет, поклонение истории. Зачем неведомый человек за шкафом, не знавший русского, потратил свое время в поисках совершенно не ему нужных катушек? (Он, кстати и прояснил их загадочную судьбу: машинописную распечатку сочли достаточным документом, адекватной заменой, после чего бобины — опять же, экономя место, — решили сплавить куда-нибудь на сторону. И Плюшкин на это нашелся, и акта даже не составили.)

А сербам на что это добро нужно? Крутить не на чем, язык посторонний, чужая этнография. Но на то и рождаются Плюшкины, их ведет не разум, а инстинкт, заботливость бережливого хозяина, кладовщика истории, знающего, что рано или поздно каждый винтик отыщет свою разлученную гаечку. И я выпил в самолете за негласный интернационал архивистов, за круговую поруку и солидарность ценителей любой старины. За священный и трепетный огонь интуиции.

Когда с допотопных носителей записи перешли в новый, цифровой формат, и моя работа с ними пошла как по маслу, выяснилось, что из бывших 79 сохранилось только 69 бесед — и, конечно, разной степени ценности. В академическом издании, вероятно, всё нашло бы себе место, но для предлагаемой книги мы отобрали одиннадцать рассказов. Как и те, что остались за рамками книги, это частные свидетельства виденного и пережитого, бывшего и несбывшегося, личные истории на фоне больших и не всегда понятных самим рассказчиком событий. Профессиональный историк назовет это «антропологическими свидетельствами», материалами для будущего построения масштабной и взвешенной картины событий, для истории повседневности тех лет, истории «в человеческом измерении».

Никто из одиннадцати представленных мемуаристов не был человеком власти, никто не занимал при старом режиме крупных государственных постов, не был гонителем или, наоборот, гонимым. Это не голоса какого-либо свергнутого класса, не запоздалые самооправдания «душителей» — нет, это вполне мелкодворянская публика с примесью разночинства.

Сын народовольца художник Юрий Анненков, дочь актера Екатерина Рощина-Инсарова, купеческий отпрыск Марк Вишняк, сын ювелира Александр Маршак, авиатор Борис Сергиевский, сын начальника госпиталя Георгий Адамович.

А четверо несли на себе и вовсе «отраженную» известность: это дети знаменитостей — дочь Льва Толстого Александра, сын Керенского Олег, дочь и сын убитого к тому времени Столыпина Александра и Аркадий. Кто же отнесет их к правящему классу?

Но через сто лет даже и не скажешь, какой свидетель важнее — столичный писатель или провинциальный прокурор, издатель журнала или сормовский машинист. Свидетельство каждого — драгоценность.

Иван Толстой

ГЛАВА 1

**СКОЛЬКО ГЛАЗ
НУЖНО ХУДОЖНИКУ?
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЗРЕНИЕ
АННЕНКОВА**

Две трети жизни (полвека) Юрий Павлович Анненков был связан с Парижем, но, рассматривая сегодня его работы, этого можно и не знать: французским художником он не стал. Анненков — фигура насквозь петербургская. И не только покосившаяся геометрия города, не только ночь, улица, фонарь, аптека пронизаны сырým и неуютным воздухом Невы, но даже лица на его портретах — болезненные, невыспавшиеся, небритые, свинцовые и гранитные. Анненков был совершенно одержим Петербургом и в эмиграцию увез с собою это сильнейшее впечатление. Даже проза его — а он был превосходным писателем, автором «Повести о пустяках», выпущенной под псевдонимом Борис Темиряев, — и та постоянна на хмури и хворобе ледяных каналов и нетающих сугробов.

И в его мемуарном «цикле трагедий» — двухтомном «Дневнике моих встреч» (1966), — несмотря на обретение громадного европейского опыта, молодые годы его Петербурге-Петрограде вытесняют все остальное.

К воспоминаниям о революции Анненков подошел как человек профессиональный. У него не могло быть приблизительных ракурсов, он не желал выставлять напоказ черновики, незаконченные эскизы. Описав в мемуарах сцены революционных дней, он, как человек, уважающий свой точный и ответственный труд, не согласен был пересказывать написанное приблизительными словами. В ответ на вопросы журналиста он раскрыл свой «цикл трагедий» и стал откровенно читать с листа. Чем-то такое поведение мастера напоминает отношение к интервью другого современника (и, между прочим, близкого анненковского знакомого) — Владимира Набокова, который требовал присылать ему вопросы по почте и все свои ответы аккуратно записывал на карточках.

Опытный художник, режиссер своей биографии, постановщик исторических картин — Анненков и у микрофона рисует перед нами единственно верное полотно. И как саморазоблачительно звучат те места в его ответах, когда он хочет добавить что-то ненаписанное! Страницы

начинают шуршать, пальцы не слушаются, он подбирает слова — живой, беззащитный, естественный.

Воспоминания Юрия Павловича в каждом своем эпизоде законченные, это миниатюры, быстрые и схватчивые портреты, всегда несущие яркую характеристику увиденного человека. У них есть характерная переключка с портретами графическими: человек в них дается непременно в окружении узнаваемых деталей времени — словечек, интерьера, детали гардероба.

Частая деталь анненковских рисунков — отсутствующий глаз у модели. Таков его Маяковский, Самуил Алянский, таковы автопортреты самого Юрия Павловича. Еще эффектнее Гоголь — его длинноносый профиль взят одной чертой. Глаз нет вообще. Таковы и мемуары Анненкова: они очень личные, дерзко субъективные, претендующие на точную деталь и одновременно питающие слабость к историко-политическим обобщениям. А уж сколько глаз нужно таким портретам для убедительности — это личный выбор автора.

РАССКАЗЫВАЕТ ЮРИЙ АННЕНКОВ

Юрий Павлович, вы были свидетелем событий, которые происходили в России в 1917 году, и я бы очень хотел попросить вас рассказать о них. Но вначале, будьте добры, расскажите о своей семье, о том, где и когда вы родились.

В юности отец мой принадлежал к революционной партии «Народная воля» и состоял в ее террористической организации, совершившей убийство Александра II 1 марта 1881 года. Вместе с Николаем Кибальчичем, Софьей Перовской, Андреем Желябовым, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым и некоторыми другими членами этой группы был арестован и мой отец. По счастью, непосредственного участия в покушении на императора он не принимал, и потому избег виселицы. Он пробыл один год и восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, после чего, приговоренный к каторжным работам, был сослан этапным порядком в Сибирь. Года через полтора каторга была ему заменена принудительным поселением, и отец был переправлен на Камчатку, в город Петропавловск. Туда приехала к нему его жена, и далекий Петропавловск стал моей родиной. Вскоре отец был помилован и смог постепенно, на собственные средства, вернуться в Европейскую Россию: сначала, в январе 1893 года, — в Самару, где мы прожили года два, и наконец в Петербург. В Самаре мой отец познакомился и сблизился с Владимиром Ильичом Лениным.

А как бы вы охарактеризовали политические взгляды вашего отца, скажем, в 1905 году, может, в последующий период?

Они очень сильно изменились и изменялись постепенно все время. Во-первых, изменялись социальные условия жизни, и это, конечно, влияло. И потом, мой отец был всегда либералом, если хотите, но эта его работа в Партии народной воли — это, конечно, было просто проявление его юности.

Где вы учились?

Я учился в Петербурге в 12-й гимназии. Но в 1905 году во время революции я придерживался революционных взглядов, даже был избран членом Совета старост, за что был исключен из пятого класса гимназии.

Я многое что помню. Я могу вам рассказать, как однажды в то время я рассказал о моем исключении из гимназии Максиму Горькому.

— Молодчага, — одобрил он, — так ты, пожалуй, скоро и в университет попадешь.

Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры с решетками на окнах, и прибавил:

— Этот будет почище!

Заглавие его будущей книги — «Мои университеты» — было уже произнесено.

А как же эта встреча произошла? Ваша семья была знакома с Горьким?

Мы были соседями в течение нескольких лет. У моих родителей было имение в финляндском местечке, которое называлось Куоккала. Через дорогу напротив было другое имение, называлось мыза Лентула, там жил Максим Горький. Таким образом мы встречались ежедневно.

Потом вы все же вернулись в гимназию?

Потом да. Но я был исключен без разрешения поступления в казенную гимназию, я должен был поступить в частную гимназию Столбцова. Кончал гимназию там, но не в самой гимназии, а в учебном округе, директором которого был, между прочим, поэт Иннокентий Анненский.

А вы продолжали интересоваться политикой, заниматься, как вы говорили, революционной деятельностью?

Нет, это было детское увлечение. Потом я увлекся искусством и мне показалось, что это гораздо глубже, чем революционные увлечения.

Я вам расскажу кое-какие воспоминания, которые мне сейчас приходят в голову. Скажем, в Куоккале, в этом местечке, где была наша дача, недалеко от него, в 1906 году поселился Владимир Ильич Ленин, скрываясь от петербургской полиции. Он неоднократно приходил навещать моего отца и жившую тогда у нас Веру Николаевну Фигнер. Об этих воспоминаниях у меня кое-что сохранилось, конечно. Я помню, как однажды Ленин раскачивался на качелях у нас в саду, и, посмеявшись, произнес:

— Какое вредное развлечение: вперед — назад, вперед — назад! Гораздо полезнее было бы «вперед — вперед! Всегда — вперед!» Все смеялись вместе с Лениным...

Какие еще у вас остались воспоминания? Может быть, о 1915–16 годах, когда вы были в Петрограде? Мне кажется, вы говорили, что видели Распутина?

Распутина я видел, да. Я даже обедал с ним однажды у одного из друзей моего отца. Среди немногочисленных приглашенных было 6 или 7 мужчин и около 15 женщин, но центром всеобщего внимания был Григорий Распутин. Вульгарная примитивность этого сибиряка, которому удалось проникнуть в императорскую семью, была нескрываема. Его средневековый успех не доказывал ничего другого, кроме интеллектуального упадничества двора, придворных и аристократии. В этом смысле распутинская эпопея чрезвычайно показательна.

На Распутине была деревенская рубаша сомнительной свежести, мужицкие штаны и очень тщательно начищенные сапоги. Жирные, липкие волосы, грязные ногти. Только его глаза, слишком близкие один к другому, почти прилипшие к переносице и назойливо пристальные, могли, пожалуй, объяснить его гипнотическую силу. Он, несомненно, сознавал эту свою физическую особенность и умел извлекать из нее довольно блистательные эффекты.

Присутствующие с почтительным вниманием прислушивались к каждому слову этого гостя, который изрекал только короткие фразы. Хозяин дома незаметно для других иронически подмигивал мне. В моей памяти удержались лишь три или четыре распутинские фразы:

— Водка! — провозгласил он, подымая свою рюмку. — Славно питьейный напиток!